

П. Мериме

Кармен

Кармен
Проспер Мериме

Аннотация
Проспер Мериме. КАРМЕНЪ

Аннотация

Солдат-баск встретился в Севилье с красавицей цыганкой, и эта встреча навсегда изменила их жизнь.

Первый, анонимный перевод новеллы на русский язык. На обложке — афиша литографа Prudent-Louis Leray к премьере оперы «Кармен» (1875).

Проспер Мериме
КАРМЕНЪ

Рассказ Проспера Мериме.



Я всегда подозревал. что географы лгут, утверждая, будто поле мундской битвы находилось в

стране Бастулов-Пенон, близь нынешней Монды, милях в двух к северу от Марбольи. Основываясь на тексте безыменного автора *«Bellum Hispaniense»* и сведениях, собранных мною в превосходной библиотеке герцога Осуньи, я полагал, что в окрестностях Монтильи надо искать замечательного места, где Цезарь решил дело с поборниками республики. Осенью 1830 года, находясь в Андалузии, я сделал довольно продолжительную поездку, чтоб окончательно разрешить этот вопрос, и диссертация, которую я издам в непродолжительном времени, надеюсь, не оставит ни малейшего сомнения на этот счет в умах археологов. Но в ожидании, пока диссертация моя разъяснит географическую проблему, на которую еще вся ученая Европа смотрит в недоумении, я расскажу вам историю, которая связана с воспоминанием о моих археологических изысканиях.

В Кордове я нанял проводника и двух лошадей и пустился в дорогу, взяв с собою только «Комментарии» Цезаря, да несколько рубашек. Однажды, — мы были в то время на возвышенностях Каченской равнины — усталый, умирая от жажды, опаленный полуденным солнцем, я от всей души посылал к чёрту и Цезаря и сыно-

вей Помпея. Вдруг заметил я довольно далеко от дороги место, покрытое тростником. Это значило, что тут есть вода. Действительно, приехав туда, я увидел болото, в котором исчезал ручей, выходивший из узкого ущелья между горами Сиерры-Кабра. Я рассудил, что если поеду вверх по ручью, то найду воду посвежее, в которой будет меньше пиявок и лягушек и, может статься, отыщу сколько-нибудь тени среди утесов. Входя в ущелье, лошадь моя заржала, и ей тотчас отвечала другая лошадь, которой я не видал. Шагов сто дальше ущелье вдруг расширилось, и я увидел род естественного цирка, обставленного высокими, бросавшими тень утесами. Нельзя было найти места, которое обещало бы путешественнику более приятный отдых. У подошвы крутых скал бил ключ и образовал небольшой бассейн, на дне которого белелся чистый, как снег, песок. Пять-шесть прекрасных зеленых дубов, со всех сторон закрытых от ветра и освежаемых ключевой водой, возвышались на берегу бассейна и раскидывали над ним свою густую зелень; кругом трава мягкая, глянцевитая представляла ложе, лучше которого нельзя было найти ни в одной гостинице на расстоянии десяти миль вокруг.

Не мне первому принадлежала честь открытия

этого прекрасного места. Когда я приехал, там уже отдыхал, и, без сомнения, спал какой-то мужчина. Разбуженный конским ржанием, он встал и подошел к своей лошади, которая, пользуясь сном своего господина, лакомилась свежей травой. Незнакомец был человек молодой, роста среднего, сложения крепкого, с взглядом мрачным и гордым. Лицо его, загорелое от солнца, было темнее волос. Одной рукой держал он лошадь за узду, в другой был медный мушкетон. Признаюсь, мушкетон и суровый вид этого молодца сначала несколько озадачили меня, но я так много наслышался о разбойниках, которых никогда не встречал, что наконец перестал верить их существованию. Притом так часто случалось мне встречать честных поселян, которые отправлялись на рынок вооруженные с ног до головы, что вид огнестрельного оружия не давал мне права усомниться в нравственности незнакомца — и сверх того, думал я, что ему в моих рубашках и комментариях? Рассудив таким образом, я фамильярно кивнул ему головой и с улыбкой спросил, не помешал ли его сну? Не отвечая мне, он вымерял меня глазами с головы до ног; потом, как бы довольный этим осмотром, с таким же вниманием оглядел моего проводника, следо-

вавшего в нескольких шагах за мною. Я увидел, что проводник побледнел и остановился, обнаруживая сильный испуг. «Ну, плохая встреча!» — сказал я про себя, но благоразумие советовало мне не обнаруживать никакого беспокойства. Я слез с коня, велел проводнику разнуздать его и, став на колени на краю ключа, сначала погрузил в него голову и руки, потом утолил мучившую меня жажду.

Между тем я наблюдал за проводником и незнакомцем. Первый, очевидно, приближался неохотно; второй, казалось, не имел против нас дурных замыслов, потому что пустил лошадь на волю, и мушкетон его, который он держал сначала в горизонтальном положении, направлен был теперь дулом к земле.

Не считая себя вправе оскорбляться невниманием, оказанным моей особе, я разлегся на траве и спросил незнакомца, нет ли у него огнива. Вместе с тем я вынул из кармана сигары. Незнакомец, не говоря ни слова, пошарил в своих карманах, достал огниво и вырубил мне огня. Очевидно, он становился обходительнее, потому что сел насупротив меня, впрочем, все еще не покидая мушкетона. Закурив сигару, я выбрал лучшую из остальных сигар и спросил, курит ли он.

— Курю, — отвечал незнакомец. То были первые слова его, и я заметил, что у него выговор не андалузский, почему и заключил, что он, должно быть, такой же путешественник, как и я, только верно не археолог.

— Вот эта сигара верно вам понравится, — сказал я, подавая ему настоящую гаванскую регалию.

Он поблагодарил меня легким наклонением головы, закурил свою сигару от моей, опять кивнул мне в знак благодарности и затем принялся курить, по-видимому, с величайшим удовольствием. «Как давно, — воскликнул он, медленно пуская изо рта и ноздрей первую струю дыма, — как давно не курил я!»

В Испании дать или взять сигару значит то же, что на Востоке разделить с кем-нибудь хлеб-соль; этим установляется гостеприимство. Мой незнакомец оказался говорливее, нежели как я ожидал. Впрочем, хотя он и называл себя жителем Монтильского округа, видно было, что он плохо знает этот край. Он не знал, как называется прелестная долина, в которой мы находились, не мог назвать мне ни одной из соседних деревень; наконец, на вопрос, нет ли в окрестностях разрушенных стен, широких черепиц с загнутыми

краями, обтесанных камней, он признался, что никогда не обращал внимания на подобные вещи. Зато видно было, что он знаток в лошадях. Он раскритиковал мою лошадь и рассказал генеалогию своего бегуна, кордуанского уроженца; благородное животное, действительно, было так привычно к труду, что, по словам хозяина, раз он проскакал тридцать миль то галопом, то крупною рысью. Среди длинной тирады он вдруг остановился, как будто спохватившись и досадуя, что высказал слишком много.

— Я очень торопился в Кордову, — прибавил он с некоторым замешательством. — Мне нужно было, видите ли, похлопотать у судей по одному тяжебному делу, — и, говоря это, он смотрел на проводника моего Антонио; а тот уставил глаза в землю.

Тень и ключ привели меня в такое приятное расположение духа, что я вспомнил о превосходном окороке, который положили в сумку проводника мои монтильские приятели. Я велел принести его и пригласил незнакомца разделить с нами этот импровизированный обед. Если он не курил долго, то по всему видно было, что он не ел по крайней мере двое суток. Он убирал кусок за куском, как голодный волк, и я полагал,

что встреча его с нами была для него истинным благодеянием неба. Между тем проводник мой ел мало, пил еще меньше, а говорить вовсе не говорил, хотя до сих пор был страшным болтуном. Присутствие незнакомца очевидно стесняло его, и какая-то недоверчивость, причины которой я не мог угадать положительно, отдаляла их друг от друга.

Уже последние куски хлеба и окорока исчезли; мы закурили по другой сигаре; я велел проводнику взнуздать лошадей и собирался проститься с новым приятелем; тут он спросил меня, где я располагаю ночевать.

Не замечая знаков, которые подавал мне проводник, я отвечал, что думаю ночевать в гостинице «Дель-Куэрво».

— Плохой же выбрали вы ночлег… Я еду туда же; если позволите, мы поедем вместе.

— Очень рад, — отвечал я, садясь на лошадь. Проводник, державший мне стремя, опять значительно мигнул мне. В ответ я пожал плечами, давая тем знать, что я совершенно спокоен, и мы пустились в дорогу.

Таинственные знаки Антонио, его беспокойство, некоторые слова, вырвавшиеся у незнакомца, особенно его тридцатимильная поездка и не

совсем правдоподобное объяснение ее, уже показали мне, что я должен думать о своем спутнике. Я не сомневался, что это контрабандист, может быть, даже разбойник, но что за беда? Я знал испанский характер и был уверен, что нечего опасаться человека, который ел и курил со мною. Присутствие его даже обеспечивало меня от всякой дурной встречи. Притом я рад был случаю узнать наконец, что такое разбойник. Не каждый день можно встретить такого человека, и, что ни говорите, а право, как-то приятно быть подле существа опасного, особенно, когда чувствуешь, что нечего его бояться.

Я надеялся довести незнакомца постепенно до откровенности и, несмотря на миганье проводника, завел разговор о разбойниках. Разумеется, я говорил о них с должным почтением. В Андалузии славился в то время бандит Хозе-Мария, про подвиги которого говорила вся Испания. Не Хозе ли Мария едет со мной? — думал я про себя. Я рассказывал разные истории об этом герое, какие помнил, — истории, впрочем, относившиеся к чести его, и выразил свое удивление к его храбрости и великодушию.

— Хозе-Мария негодяй, — холодно сказал незнакомец.

«Что это значит? Правду ли он говорит, или скромничает? — спрашивал я сам себя, ибо, всматриваясь в моего спутника, я успел найти в нем все приметы Хозе-Марии, описание которых читал я на воротах главного города Андалузии. — Да, это он. Русые волосы, голубые глаза, большой рот, прекрасные зубы, маленькие руки, тонкая рубаха, бархатный камзол с серебряными пуговицами, штиблеты из белой кожи, гнедая лошадь… нет более сомнения. Но уважим его инкогнито».

Мы приехали в гостиницу. Она была такова, какою описал мне ее незнакомец, то есть самою жалкою, какие я когда-нибудь встречал. Большая комната служила кухней, столовой и спальней. Среди комнаты, на гладком камне разведен был огонь; дым выходил в отверстие, сделанное в крыше, или, лучше сказать, останавливался, образуя облако в нескольких футах над полом. Вдоль стен раскинуто было пять-шесть старых лошаковых попон: это были постели для путешественников. В двадцати шагах от дома или от единственной комнаты, которую я описал, стоял сарай, служивший конюшнею. В этом бедном жилище, по крайней мере на ту пору, не было никого, кроме старухи да девочки лет десяти или двенадцати; они были черны, как сажа, и одеты

в гадкие лохмотья.

«Вот все, — сказал я про себя, — что осталось от народонаселения Мунды Бетической! О Цезарь! О Секст Помпей! как изумились бы вы, если б воротились на свет!»

Увидев моего спутника, старуха воскликнула с изумлением:

— А! сеньор дон-Хозе!..

Дон-Хозе нахмурил брови и повелительным движением руки тотчас остановил старуху. Я обернулся к проводнику и незаметным знаком показал ему, что очень хорошо знаю, с кем пришлось мне провести эту ночь. Ужин был лучше, нежели какого я ожидал. Нам подали на маленьком столике старого жареного петуха с рисом и индийским перцем, потом индийский перец в масле, наконец шепачо, род салата из индийского перца. Три блюда с такими пряностями заставили нас часто прибегать к монтильскому вину, которое было превосходно. После ужина, заметив мандолину, висевшую на стене, — в Испании в каждом доме найдете вы мандолину, — я спросил прислуживавшую нам девочку, умеет ли она играть на ней.

— Нет, — отвечала она, — но дон-Хозе играет так хорошо!

— Сделайте одолжение, — сказал я ему, — спойте что-нибудь, я страстно люблю вашу народную музыку.

— У вас такие превосходные сигары, что я не могу отказать вам, — сказал весело дон-Хозе и, приказав подать мандолину, запел под аккомпаньеман ее. Голос его был груб, но приятен; напев грустный и странный; что касается до слов, я их не понял.

— Если не ошибаюсь, — сказал я — песня эта не испанская. Слова, должны быть, баскские.

— Да, — отвечал дон-Хозе мрачно. Он положил мандолину на пол и, скрестив руки, с заметным выражением печали начал смотреть на угасавший огонь. Освещенная лампою, стоявшею на столике, фигура его, вместе и благородная и суровая, напоминала мне Мильтонова Сатану, подобно ему, может быть, спутник мой думал о стране, покинутой им, об изгнании, которому подвергся за свою вину. Я пытался оживить разговор, но дон-Хозе не отвечал, погруженный в печальные мысли. Уже старуха ушла спать в угол залы, за дырявое одеяло, притянутое на веревке. Девочка пошла за ней в это убежище, назначенное для прекрасного пола. Тогда мой проводник, встав, сказал мне, не хочу ли я идти

с ним в конюшню; при этом слове дон-Хозе, как бы пробудившись от сна, спросил его сердито, куда он идет.

— В конюшню, — отвечал проводник.

— Зачем? Лошадям дан корм. Ночуй здесь; господин тебе позволит.

— Боюсь, как бы лошадь сеньора не захворала; мне хотелось бы, чтоб он посмотрел ее; может быть, он прикажет что-нибудь сделать с ней.

Видно было, что Антонио хочется переговорить со мной наедине; но я не хотел подавать никаких подозрений дону-Хозе, и мне казалось, что лучше всего показывать возможную к нему доверенность. Поэтому, я отвечал Антонио, что не знаю никакого толка в лошадях и что мне хочется спать. Дон-Хозе пошел за ним в конюшню и скоро воротился оттуда один. Он сказал мне, что за лошадь нечего опасаться, но что мой проводник чересчур дорожит ею, трет ее своим камзолом, чтоб произвесть испарину, и располагает провести всю ночь в этом приятном занятии. Между тем я растянулся на лошаковых попонах, тщательно закутавшись в плащ, чтоб не иметь с ними непосредственного сообщении. Дон-Хозе, попросив извинения, что осмеливается расположиться подле меня, лег перед дверью, подсыпав

наперед пороху на полку мушкетона и положив его под сумку, служившую подушкой. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и минут через пять спали уже мертвым сном.

Я думал, что от усталости преспокойно просплю ночь в такой гадкой гостинице; но через час пренеприятный зуд пробудил меня от первого сна. Отгадав причину этого зуда, я встал, полагая, что лучше провести остальную часть ночи под открытым небом, чем под этим негостеприимным кровом. На цыпочках добрался я до двери, перешагнул через постель дона-Хозе, который спал сном праведника, и, не разбудив его, вышел из дома. У ворот стояла широкая деревянная скамья; я расположился на ней спать. Уже глаза мои смыкались во второй раз, как мне показалось, будто идут ко мне тень человека и тень лошади, ступая тихо, без малейшего шума. Я приподнялся на скамье и узнал Антонио. Дивясь, что в такую пору он не в конюшне, я встал и пошел ему на встречу. Заметив меня, он остановился.

— Где он? — тихо спросил меня Антонио.

— В гостинице спит; видно, клопы ему нипочем; зачем ты вывел лошадь?

Тут я заметил, что Антонио тщательно окутал ноги лошади в остатки старого одеяла, чтоб она

не топала, выходя из сарая.

— Ради Бога, — говорите тише, сказал Антонио. — Вы не знаете, что это за человек. Это дон-Хозе Наварро, знаменитейший разбойник андалузский. Целый день я подавал вам знаки, да вы, видно, не хотели понять их.

— Разбойник он или нет, мне что за дело? — отвечал я. — Он не ограбил нас и, бьюсь об заклад, вовсе не хочет ограбить.

— Все так, сеньор, но ведь двести червонцев получит тот, кто выдаст его начальству. Мили полторы отсюда стоят уланы, и до рассвета прискачет сюда несколько бравых молодцов… Я взял бы его лошадь, да она так зла, что, кроме Наварро, ни кто не может подойти к ней.

— Чёрт тебя возьми! — сказал я. — Что сделал тебе этот бедняк? Да и уверен ли ты, что это именно дон-Хозе?

— Совершенно; с час назад он пришел за мной на конюшню и сказал: «Ты, братец, кажется, знаешь меня. Смотри же, если скажешь своему господину, кто я такой, я размозжу тебе голову». Оставайтесь, сударь, подле него; вам бояться нечего. Пока вы будете здесь, он ничего не будет подозревать.

Разговаривая таким образом, мы так далеко

отошли от гостиницы, что нельзя было расслышать топота лошадиных копыт. Антонио мигом снял с ног лошади лохмотья и приготовился сесть на нее. Я пробовал удержать его просьбами и угрозами.

— Сеньор, я бедный человек, — говорил он, — глупо терять двести червонцев, особенно, когда можно избавить страну от этакой гадины. Но берегитесь; если Наварро проснется, он тотчас схватится за ружье, и тогда не зевайте! Я уж так далеко зашел, что назад воротиться нельзя; делайте, как знаете. — Негодяй был уже на седле; он пришпорил коня, и скоро в темноте я потерял его из вида.

Я был очень сердит на проводника и не знал, что делать. Подумав с минуту, я решился и вошел в комнату. Дон-Хозе спал еще, без сомнения, вознаграждая в эту минуту труды и бессонницу нескольких тревожных дней. Я принужден был трясти его изо всей мочи, чтоб разбудить. Никогда не забуду я свирепого взгляда и движения, сделанного им, чтоб схватить мушкетон, который, из предосторожности, я положил в нескольких шагах от его постели.

— Извините, — сказал я, — что я разбудил вас; но я хочу предложить глупый вопрос: приятно

ли будет вам увидеть здесь полдюжины уланов?

Он вскочил на ноги и страшным голосом спросил:

— Кто вам это сказал?

— Не в том дело, кто сказал; дело в том, что это верно.

— Ваш проводник изменил мне, но он поплатится! Где он?

— Не знаю… В конюшне, я думаю… мне сказал человек…

— Кто вам сказал?.. Не может быть, чтоб старуха…

— Человек, которого я не знаю… Без дальних слов, есть у вас или нет причины не дожидаться солдат? Если есть, не теряйте времени; если нет, то спокойной ночи, и извините, что я разбудил вас.

— А! ваш проводник! проводник!.. С первого взгляда он мне не понравился… Но… мы разочтемся… Прощайте, сеньор. Да наградит вас Бог за эту услугу… Я вовсе не такой злой человек, как вы думаете… Прощайте! Мне жаль только, что я не могу поквитаться с вами.

— За услугу — услуга, дон-Хозе: обещайте мне никого не подозревать и не думать о мщении. Вот вам сигары на дорогу; счастливого пути! — И я

подал ему руку. Он пожал ее, не говоря ни слова, взял мушкетон и сумку и, сказав несколько слов старухе на языке, которого я не мог понять, побежал в сарай. Чрез несколько минут я услышал, как понесся он в галоп по полю.

А я опять прилег на скамью, но не мог заснуть. Я спрашивал себя, хорошо ли я сделал, спасая от виселицы разбойника потому только, что он ел со мною окорок? Не изменял ли я проводнику, который поддерживал сторону закона? не отдал ли я его на жертву мести злодея? Но обязанности гостеприимства?.. Предрассудок дикарей, рассуждал я, на мне будет лежать ответственность за все преступления, которые совершит бандит… Неужели предрассудок — этот инстинкт совести, который противится всем рассуждениям? Я колебался еще в недоумении на счет нравственности моего поступка, как показалось полдюжины всадников с Антонио, который благоразумно держался в арьергарде. Я пошел и встречу им и объявил, что разбойник бежал часа два назад. Старуха при допросе объявила, что знала Наварро, но, живя одна, никогда не решилась бы донести на него, потому что могла бы поплатиться за это жизнию. Она прибавила, что дон-Хозе каждый раз, как бывал у ней, уезжал всегда ночью. Что касается

меня, я должен был отправиться в ближайшее селение, предъявить свой паспорт и дать объяснение альгвазилу, за тем мне позволили снова приняться за археологические изыскания. Антонио сердился на меня, подозревая, что я помешал ему заработать двести червонцев. Несмотря на то, мы расстались в Кордове добрыми друзьями; я наградил его, как позволяло состояние моих финансов.

* * *

Несколько дней провел я в Кордове. Мне указали в библиотеке доминиканцев на одну рукопись, в которой я должен был найти интересные сведения о древней Мунде. Очень хорошо принятый добрыми монахами, я дни проводил в монастыре, а вечер гулял по городу. В Кордове в вечернее время много праздных людей собирается за набережную, устроенную по правому берегу Гвадалквивира. Там они дышат воздухом кожевенных заводов, которые поддерживают древнюю известность этой страны по кожевенной части, но зато наслаждаются зрелищем, которое не везде можно видеть.

За несколько минут до вечернего звона (Angélus) множество женщин собирается внизу

набережной, которая довольно высока. Ни один мужчина не смеет вмешаться в эту толпу. Звон *Angélus* означает официальное наступление ночи. При последнем ударе колокола все эти женщины раздеваются и входят в воду. Подымаются крик, смех, адский шум. Мужчины смотрят на купальщиц с верху набережной, пялят глаза, но видят, впрочем, очень немного. Но эти белые и неопределенные формы, рисующиеся на темной лазури реки, расшевеливают поэтические головы, и у кого хоть немножко есть воображения, тот без труда представит себе, не опасаясь участи Актеона, купанье Дианы с нимфами. Мне рассказывали, будто раз шалуны подкупили звонаря, чтоб он прозвонил *Angélus* двадцатью минутами раньше законного срока. Хотя было еще светло, гвадалквивирские нимфы не задумались и, веря больше *Angélus,* чем солнцу, с спокойной совестью начали раздеваться. Я при этом не был. В мое время звонарь был неподкупим, вечер темный, и разве кошка могла отличить старую торговку апельсинами от лучшей кордуанской гризетки.

Однажды вечером, когда уже ничего не было видно, я курил, опершись на парапет набережной. Вдруг женщина, поднявшись по лестнице, ведущей от реки, села подле меня. В волосах ее

был большой букет из жасминов, которого широкие лепестки издают вечером упоительный запах. Она была одета просто, может быть, даже бедно, вся в черном, как одевается большая часть гризеток в вечернее время. Подошед ко мне, купальщица моя спустила на плечи мантилью, покрывавшую ее голову, и при тусклом свете звезд я увидел, что она невелика ростом, молода, хорошо сложена и с большими глазами. Я тотчас кинул сигару. Она поняла эту французскую внимательность и поспешила сказать мне, что любит запах табака и сама курит слабые *papelitos.* К счастию, папелитосы были у меня в кармане, и я предложил ей. Она соблаговолила взять одну. Мы закурили, разговорились и проболтали так долго, что на набережной остались только я да моя прекрасная купальщица. Я не счел неприличным предложить ей отправиться в *неверию*[1] покушать мороженого. Недолго боролась она с своей скромностью и приняла мое предложение, но прежде хотела знать, который час. Я тронул пружину моих часов с репетицией, и бой карманных часов, казалось, очень изумил ее.

— Какие изобретения у вас, господа иностран-

[1] Примечания: 1

Кофейня с ледником. В Испании, в каждой деревне найдете вы *neveria.* - (*Здесь и далее примечания автора*).

цы! Откуда вы родом, сеньор? Верно, англичанин [2].

— Француз и ваш покорнейший слуга. А вы, сударыня, конечно, здешняя?

— Нет.

— Так, по крайней мере, андалузянка? Это заметно по вашему приятному выговору.

— Если вы так хорошо различаете выговоры, то должны угадать, кто я такая.

— Я полагаю, вы из страны Иисуса, в двух шагах от рая.

(Я слышал эту метафору, означающую Андалузию, от друга моего Франсиска Севилья, известного пикадора).

— А! рай… здешние люди говорят, что он создан не для нас.

— Ну, так вы… — я остановился, не смее сказать «жидовка».

— Полноте, вы видите, я цыганка; хотите, поворожу вам? Слыхали вы когда-нибудь про Карменситу? Это я.

В то время — этому будет уж лет пятнадцать — я

---

[2] Примечания: 2

В Испании каждый путешественник, который не носит с собой образчиков миткаля или шелковой материи, считается англичанином, *Inglesito.* Точно так же и за Востоке. В Халкиде я имел честь быть известным под именем милорда француза.

был такой басурман, что не попятился с испуга, видя подле себя ворожею. «Хорошо! — подумал я, — на прошлой неделе я ужинал с разбойником; сегодня пойду есть мороженое с служительницею дьявола. В путешествии надо все видеть». Я имел еще другое побуждение короче познакомиться с ней. К стыду своему, должен признаться, что, по выходе из училища, я убил несколько времени на изучение тайных знаний и даже не раз покушался вызвать духа тьмы. Хоть я давно вылечился от страсти к подобным изысканиям, но все суеверия имели еще для меня что-то заманчивое, и я радовался, что теперь представился случай узнать, до какой степени доведено искусство магии у цыган.

Болтая всякий вздор, вошли мы в кофейню и уселись за маленький столик, освещенный восковою свечою, горевшею в стеклянном шару. Тут на досуге мог я рассмотреть цыганку, между тем как почтенные люди, покушивая мороженое, вероятно, с крайним удивлением видели меня в таком обществе. Очень сомнительно, чтоб Кармен была чистой цыганской породы; по крайней мере, она была далеко лучше всех цыганок, каких я видал. Испанцы говорят, что та женщина красавица, которую можно определить посредством

десяти прилагательных, так, чтоб каждое из них могло быть применено к трем частям ее особы. Например, она должна иметь три вещи — черные глаза, ресницы, брови и т. п. Хотите узнать остальное, читайте Брайтона. Моя цыганка не могла претендовать на такие совершенства. Кожа ее, впрочем, совершенно гладкая, приближалась к цвету меди. Глаза косые, но разрез их был чудесный; губы толстоваты, но хорошо обрисованы, и за ними виднелись зубы белее миндалин без кожицы. Волосы черные с синеватым отливом, как крыло во́рона, длинные, лоснистые. Чтоб не утомлять вас слишком плодовитым описанием, скажу коротко: с каждым недостатком соединялось в ней достоинство, которое от контраста, может быть, сильнее бросалось в глаза. Это была красота странная, дикая, фигура, которая сначала удивляла, но которой нельзя было забыть. Особенно глаза ее имели выражение вместе и сладострастное и жестокое, какого не встречал я ни в одном взгляде человеческом. Цыганский глаз — волчий глаз, гласит немецкая поговорка, и это верно. Если вы не имеете возможности видеть волчий глаз, посмотрите на кошку, когда она подстерегает воробья.

Разумеется, смешно было бы, если бы цыганка

стала мне ворожить в кофейне. Поэтому я предложил проводить ее до ее дома; она согласилась без затруднения, но хотела опять прежде знать, сколько времени, и просила, чтоб пробили мои часы.

— А, да они золотые! — сказала она, смотря на них с величайшим вниманием.

Когда мы вышли из кофейни, была уже темная ночь; лавки большею частию заперты и улицы почти пусты. Мы прошли Гвадалквивирский мост и на конце предместья остановились перед жалким домишком. Какой-то мальчик отворил нам дверь. Цыганка сказала ему несколько слов на языке, мне неизвестном, который, как узнал я после, был язык цыганский. Мальчик тотчас исчез, и мы остались в обширной комнате, которой вся мёбель состояла из столика, двух табуретов и сундука. Видел я также кувшин с водой, груду апельсинов и пучок лука.

Как скоро мы остались одни, цыганка вытащила из сундука засаленные карты, магнит, высушенного хамелеона и другие вещи, необходимые для ворожбы. Затем она велела мне сделать монетой крест на левой руке, и начались магические церемонии. Нет надобности говорить вам, что она насказала мне.

К несчастию, уединенная беседа ваша скоро была расстроена. С шумом отворилась дверь, и мужчина, весь закутанный в черный плащ, вошел в комнату, ворча на цыганку. Я не понимал, что он говорил, но по тону его голоса заметно было, что он сердит. Увидев его, цыганка не обнаружила ни изумления, ни гнева: она побежала ему навстречу и с чрезвычайною беглостию проговорила ему несколько фраз на таинственном языке, который я уже слышал. Из всего разговора я понял только слово *payllo*, часто повторившееся. Я знал, что цыгане зовут так всех, кто не принадлежит к их племени. Предполагая, что речь идет обо мне, и в ожидании щекотливого объяснение схватился уже за ножку табурета и выжидал минуту, когда приличнее будет бросить его в голову незнакомца. Он грубо оттолкнул цыганку и подошел ко мне; потом, отступив на шаг, сказал:

— Сеньор, это вы?

Я посмотрел на него в свою очередь и узнал приятеля моего, дона-Хозе. В эту минуту я пожалел, что разбудил его в гостинице.

— А, это вы, любезнейший? — сказал я так смело, как только мог. — Вы вошли в такую минуту, когда цыганка рассказывала мне очень интересные вещи.

— Опять принялась за свое! Но этому будет конец, — сказал он сквозь зубы, устремив на нее суровый взгляд.

Между тем цыганка продолжала что-то говорить ему на своем языке. Она постепенно одушевлялась. Глаза ее наливались кровью, становились страшными; она топала ногою. Видно было, что она уговаривала его сделать что-то, а он не хотел. О чем была речь, можно было догадаться, потому что цыганка несколько раз быстро проводила рукой по своему горлу. Я полагал, что речь идет о том, как бы перерезать горло, и очень подозревал, что это горло именно мое.

На весь этот поток красноречия дон-Хозе отвечал несколько слов коротко и сухо. Тогда цыганка бросила на него взгляд глубокого презрения: затем, усевшись по-турецки в углу комнаты, взяла апельсин и начала есть.

Дон-Хозе взял меня за руку, отворил дверь и вывел на улицу. Шагов двести прошли мы в глубочайшем молчании. Потом, протянув руку вперед, он сказал:

— Идите все прямо, вы придете к мосту.

Затем он отвернулся от меня и быстро удалился. Я воротился домой не совсем в веселом расположении духа. Раздеваясь, я заметил, что

моих часов с репетицией не было уже в кармане.

По разным соображениям я не пошел на другой день к цыганке за часами, не просил также и коррехидора отыскать их. Окончив рассмотрение рукописи доминиканцев, я отправился в Севилью и, пространствовав несколько месяцев по Андалузии, решился воротиться в Мадрит. Нужно было проезжать чрез Кордову. Я не думал долго останавливаться тут, потому что опротивел мне этот прекрасный город с гвадалквивирскими купальщицами. Как бы то ни было, надо было, однако ж, повидаться с приятелями, исполнить кой-какие комиссии, и все это должно было задержать меня в древней столице мусульманских государей по крайней мере дня на три или на четыре. Я зашел в монастырь доминиканцев: почтенный монах, всегда обнаруживавший живейшее участие в моих изысканиях о местоположении древней Мунды, встретил меня с распростертыми объятиями.

— Славу Богу! — говорил он — а мы уж думали, что вас нет в живых, и я, ваш богомолец, читал и *Pater* и *Ave* за спасение души вашей! Так вы не убиты, а что вас обокрали, это мы знаем.

— Как так? — спросил я, немного изумленный таким приветствием.

— Да, часы с репетицией, которые мы так хорошо знаем, отысканы; вам отдадут их…

— То есть, часы, которые я потерял… — сказал я, немного смутившись…

— Негодяй сидит в тюрьме, и так как он такой человек, который не побоится из-за гроша застрелить христианина, то мы и опасались, не убил ли он вас. Я пойду с вами к коррехидору, и ваши прекрасные часы будут вам возвращены. Говорите же дома после этого, что судьи в Испании не знают своего дела!

— Признаюсь вам, лучше лишиться часов, чем быть свидетелем в суде и видеть, как из-за меня повесят какого-нибудь бедняка…

— О, не беспокойтесь! суд знает его хорошо; повесят его не за вас. Впрочем, я ошибся; его не повесят: он дворянин, гидальго — послезавтра его *задушат*[3]. Вы видите, будь одним воровством больше или меньше, это не изменить его судьбы. Хорошо, если б только он воровал! Но он совершил несколько убийств, одно страшнее другого.

— Как его зовут?

— Здесь известен он под именем Хозе Наварро, но у него есть еще другое имя, баскское, которого

---

[3] Примечания: 3

В 1830 г. дворянство еще пользовалось этой привилигией. Ныне эта казнь, *garrote,* досталась на долю черни.

ни вам, ни мне никогда не выговорить. Уверяю вас, стоит посмотреть на этого человека, и вам как путешественнику не следует пропускать случая, чтоб узнать, как в Испании злодеи расстаются с светом. Он теперь в церкви: отец Мартинес проводит вас туда.

Доминиканец так настойчиво уговаривал меня посмотреть на приготовления преступника к смерти, что я не мог отказаться. Я пошел к арестанту, запасшись пачкою сигар.

Меня ввели к дону-Хозе в то время, когда он обедал. Холодно кивнул он мне головою и учтиво поблагодарил за подарок, который я принес. Отсчитав несколько сигар, он отдал мне остальные, говоря, что больше ему не нужно.

Я спросил его, не могу ли посредством денег или кредита моих друзей выхлопотать какое-нибудь облегчение его участи. Сначала он пожал плечами, печально улыбаясь; потом, одумавшись, просил меня отслужить обедню за упокой души его.

— Согласитесь ли вы, — прибавил он робко, — отслужить другую обедню за особу, которая оскорбила вас?

— Конечно, — отвечал я, — но, кажется, никто здесь не оскорблял меня.

Он взял мою руку и грустно пожал ее. После минутного молчания он опять спросил:

— Смею ли я попросить еще у вас одной услуги? Когда вы отправитесь назад, на родину, вы верно поедете чрез Наварру. По крайней мере, вы не минуете Виттории, а оттуда Наварра недалеко.

— Да, а именно поеду чрез Витторию; но легко может статься, что поверну на Пампедону, а для вас я охотно сделаю этот крюк.

— Ну, так если вы поедете в Пампедону, вы найдете там много для себя интересного… это прекрасный город… я дам вам вот эту медаль (он показал маленькую серебряную медаль, которую носил за шее); вы завернете ее в бумагу… (Он остановился на минуту, чтоб утишить свое волнение), передадите ее или прикажете передать доброй женщине, которой адрес я скажу вам. Скажите ей, что я умер, но как умер, не говорите.

Я дал слово исполнить его поручение. На другое утро опять пришел я к нему в тюрьму и провел с ним часть дня. Он рассказал мне печальную историю, которую предлагаю здесь читателям.

* * *

— Я родился, — так начал он, — в Элисондо, в Бастанской равнине. Зовут меня дон-Хозе Ли-

заррабенгоа, и вы, зная хорошо Испанию, легко можете угадать по этому имени, что я баск. Называюсь я дон-Хозе, потому что дворянин, и будь мы в Элисондо, я показал бы вам свою родословную на пергаменте. Родные хотели, чтоб я был в духовном звании, отдали меня в ученье; но ученье не шло мне на ум. Я страстно любил играть в мяч, и это погубило меня. Когда мы, наваррцы, играем в мяч, то забываем все. Раз во время игры товарищ мой из Алавы завел со мной ссору; мы схватили *макилы*[4], и я так его отделал, что должен был покинуть родину. На дороге встретились драгуны, и я поступил в альманзасский кавалерийский полк. Наши горцы скоро выучиваются военному ремеслу. Произвели меня в капралы; обещали сделать вахмистром, но, к несчастию, раз поставили меня на караул у табачной фабрики в Севилье. Если вы бывали в Севилье, то видали это огромное здание, за валом, близь Гвадалквивира. Я как теперь перед собой вижу ворота, подле ворот караульню. Испанцы на службе или играют в карты, или спят; я, как настоящий наваррец, старался всегда чем-нибудь заниматься: работал из латунной проволоки цепочку, на которой

[4] Примечания: 4
Железные палки басков.

должен был висеть затравник. Вдруг товарищи говорят: слышите, ребята, звонит колокол; девки сейчас пойдут на работу… Надо вам знать, сударь, что на фабрике работают от четырех до пяти сот женщин. Они свертывают сигары в большой зале, куда мужчина не может войти без позволения полицейского чиновника, потому что, когда жарко, женщины, особенно молодые, снимают с себя лишнее платье. В то время как работницы после обеда возвращаются на работу, к фабрике собирается много молодёжи. Редкая из фабричных девушек откажется от тафтяной мантильи, и охотникам на этой ловле стоить только нагнуться, чтоб поймать рыбку. Между тем, как товарищи мои и городская молодёжь глазели на девок, я сидел на скамье, у ворот. Я был тогда молод; родина не выходила у меня из головы, и я не думал, чтоб могла быть хорошенькая девушка без синей юбки и косы, упадающей на плечи[5]. Притом андалузянки пугали меня; я еще не привык к их манерам. Вечно шутки, никогда не услышишь дельного слова. Итак, работаю я цепочку, и слышу, товарищи говорят: «Цыганка! Цыганка». Я поднял глаза и увидел ее.

---

[5] Примечания: 5

Обыкновенный костюм поселянок в Наварре и баскских провинциях.

Была пятница; этого дня я никогда не забуду. Я увидел Кармен… вы ее знаете; у нее встретил я вас несколько месяцев назад.

На ней была красная коротенькая юбка, из-под которой виднелись белые, шелковые, дырявые чулки, красные сафьянные башмаки с лентами огненного цвета. Она откинула мантилью, чтоб выказать свои плечи, и большой букет кассии, выходивший из ее рубашки. Во рту у ней был также цветок кассии. На родине моей, увидев женщину в таком костюме, народ стал бы креститься. В Севилье Кармен слышала со всех сторон наглые комплименты; она отвечала направо и налево, делала глазки, была бесстыдна, как настоящая цыганка. С первого взгляда она мне не понравилась, и я снова принялся за работу, но, по обычаю женщин и кошек, которые не идут тогда, когда их зовут, а приходят, когда не зовут, Кармен остановилась передо мной и сказала:

— Молодец, подари мне цепочку; я буду носить на ней ключи от сундука.

— Как бы не так! — отвечал я. — Самому нужно.

— А! так ты привык быть на цепи! — Все захохотали: я чувствовал, что у меня выступила на лице краска, и не нашелся, что отвечать цы-

ганке. — Коли ты не хочешь дарить, так вот я тебе подарю на память... — И она кинула мне в лоб цветок кассии, бывший у ней во рту. Точно пуля ударила меня... Я не знал, куда деваться, и был неподвижен, как доска. Когда она ушла на фабрику, я увидел цветок, лежавший на земле у ног моих; не знаю, что мне вздумалось, только я поднял его так, что товарищи не заметили, и бережно положил за пазуху. Первая глупость!

Спустя два или три часа, я все еще сидел и думал об этом случае, как прибегает в караульню фабричный сторож впопыхах, с встревоженным лицом. Он сказал, что в большой сигарной зале убита женщина и что надо послать туда караул. Вахмистр приказал мне взять двух человек и идти. Вхожу в залу; триста баб в рубашках или почти что в рубашках, кричат, воют, шумят, так что и грома Божьего нельзя было бы расслышать. Всматриваюсь в эту толпу и вижу: одна женщина стоит облитая кровью; на лице ее нарисована ножом, в два приема, буква Х. Насупротив раненой, около которой суетилось несколько женщин, стояла Кармен; ее держали пять-шесть баб. Раненая кричала: «Духовника! Духовника! Умираю!» Кармен молчала: только скрежетала зубами да ворочала глазами, как хамелеон.

— Что тут такое? — спросил я. Нелегко было узнать, что случилось, потому что все работницы принялись рассказывать вдруг. Кажется, раненая женщина похвалялась, что у ней хватит денег купить осла на трианском базаре. «Вот еще вздумала осла покупать! — сказала Кармен. — Ездила бы себе на метле». Та отвечала ей, что на метле ездит не умеет, потому что она не цыганка и не дочь сатаны, а что Карменсита скоро познакомится с ее ослом, когда коррехидор отправит ее прогуляться на нем по городу и пошлет сзади ее двух лакеев, чтоб отгонять мух. «Постой же! — вскричала Кармен, — вот я сделаю на твоей роже водопой для мух...» И вслед за тем ножом, которым резала сигары, нарисовала она на лице ее крест.

Дело было ясное, я взял Кармен за руку.

— Ну, голубушка, — сказал я ей учтиво, — ступай-ка за мной.

Она взглянула на меня и как будто узнала.

— Пойдем, — сказала она с покорным видом. — Где моя мантилья?

Она накинула мантилью за голову, закрыла все лицо, так что виден был только один глаз, и смирно, как ягненок, пошла за солдатами. Пришли в караульню; вахмистр говорит, дело важное: надо

отвести в тюрьму. Опять мне велено идти с нею. Два солдата пошли во сторонам ее, я сзади. Пришли мы в город. Сначала цыганка молчала, но в улице Змеи — вы знаете эту улицу, что извивается, как змея, — она спускает мантилью на плечи, открывает свое обманчивое лицо и, обернувшись ко мне, говорит:

— Послушай, молодец, куда это ты ведешь меня?

— В тюрьму, голубушка, — говорю я ласково, как добрый солдат должен говорить с арестантом, особенно с женщиной.

— В тюрьму? Что же со мной будет? Нет, сжалься надо мной. Ты так молод, так добр… — Потом продолжала гораздо тише: — Пусти меня; подарю тебе кусочек *bar lacht,* с ним все женщины будут любить тебя…

Bar lacht, сударь, магнитный камень; цыгане говорят, что кто умеет пользоваться им, может делать чудеса. Истолките его в порошок и дайте любой женщине выпить несколько порошинок в рюмке белого вина — женщина ваша. Я отвечал ей самым серьёзным образом, как только мог:

— Нечего вздор болтать, надо идти в тюрьму, так приказано.

У нас, басков, выговор такой что испанец легко

нас узнáет; Кармен не трудно было отгадать, откуда я родом. Вы знаете, сударь, что цыгане, не имее родины, бродя по всему свету, говорят на всех языках; Кармен довольно хорошо знала баскский язык.

— *Laguna tne bihott arena,* товарищ моего сердца, — сказала она мне вдруг, — ты — мой земляк.

Язык наш, сударь, так прекрасен, что когда услышишь его на чужой стороне, сердце так и задрожит… «Я из Элисондо», — отвечал я по-баскски, тронутый звуками родного говора.

— А я из Этчалар, — сказала она. Это в четырех часах от нас. — Цыгане увели меня в Севилью. Я работала на фабрике, хотела заработать денег, чтоб было с чем воротиться в Наварру, к бедной матери, у которой одна подпора я и все именье — садик с двадцатью яблонями. Вот тебе и родина, и белые горы наши! Меня обидели, потому что я родилась не в этой стране мошенников, торгашей гнилыми апельсинами; эта нищие напустились все на меня, зачем я сказала им, что все их севильские фанфароны, с своими ножами, не испугают одного нашего молодца с синим беретом и *макилой.* Товарищ, друг мой! неужели ты ничего не сделаешь для землячки?

Она лгала, сударь, все лгала. Не знаю, сказала

ли она в жизни хоть одно слово правды; но когда она говорила, я верил ей, не мог не верить. Я обезумел, не обращал ни на что внимания и думал, что если б испанцы затеяли дурно отзываться о моей родине, я изрезал бы им лицо так же, как изрезала она лицо работнице. Коротко сказать, я был точно пьяный, начал говорить глупости, и готов был сделать глупость.

— Если я тебя толкну и ты упадешь, земляк, — говорила она по-баскски, — то этим двум кастильским рекрутам не удержать меня…

Я забыл и приказ, и все и сказал:

— Друг мой, землячка, попробуй, и да поможет тебе наша горная Богородица! — В ту самую минуту проходили мы мимо одного из тех узких переулков, которых так много в Севилье. Вдруг Кармен обернулась и — хвать меня кулаком в грудь. Я упал навзничь… Одним прыжком перескакивает она через меня и пускается бежать; мы только и видели ноги… Говорят: ноги, как у баска, — ее ноги стоили многих других… так же проворны, как и красивы. Подымаюсь, бегу за арестанткой, товарищи за мной; но где нагнать ее? Кармен исчезла. Притом все кумушки этого квартала помогали ее бегству, смеялись над нами, водили нас из улицы в улицу, из переулка в

переулок. После многих маршей и контрмаршей мы принуждены были воротиться в караульню без росписки смотрителя тюрьмы.

Мои солдаты, чтоб избежать наказания, объявили, что Кармен говорила со мной по-баскски, и правду сказать, не совсем было натурально, чтоб девичий кулак мог свалить сразу такого здоровяка, как я. Дело казалось двусмысленным или, лучше сказать, очень ясным. Как кончился караул, меня тотчас разжаловали в рядовые и отправили на месяц в тюрьму. Это было первое наказание с тех пор, как поступил я на службу. Прощайте, вахмистрские галуны, которые я считал уже своими!

Первые дни в тюрьме провел я очень печально. Поступая в солдаты, я воображал, что дослужусь по крайней мере до офицерства: Донга, Мина, земляки мои, вышли в генерал-капитаны. Чапелангарра, который убежал к вам так же, как и Мина, был полковником, и я часто играл в мяч с его братом, таким же бедняком, как и я. Теперь я говорил сам себе: все то время, которое прослужил ты без наказания, — проведшее время. У начальства ты на худом счету; в десять раз теперь труднее заслужить хорошее мнение, чем было тогда, когда ты был рекрутом. И за что же попал

ты под наказание? За негодную цыганку, которая смеялась над тобой и теперь ворует где-нибудь в городе. Несмотря на то, она не выходила у меня из головы. Поверите ли, сударь, ее шелковые, дырявые чулки, которые показала она мне целиком, перескакивая через меня, беспрестанно мне мерещились. Сквозь тюремную решетку глядел я на улицу; много проходило женщин, но не видал я ни одной лучше цыганки. И затем невольно нюхал я цветок кассии, который она бросила в меня: он был сух, но все еще пахуч... Если есть на свете колдуньи, эта девка была совершенной колдуньей.

Однажды входит ко мне сторож и подает алькальскую булку[6].

— Вот, — говорит он, — сестра тебе прислала.

Беру хлеб и думаю: какая сестра? ни родной, ни двоюродной нет у меня в Севилье; верно, это ошибка. Но булка была так хороша, так аппетитна, что я решился съесть ее, не стараясь разузнавать, кто и кому прислал ее. Начинаю резать; нож встречает что-то твердое. Смотрю: это английская пилка, запеченная в тесте. Кроме

---

[6] Примечания: 6

Алкала де лос Панэдерос — городок в двух милях от Севильи, где приготовляются превкусные булки. Говорят, достоинство их зависит от воды реки Алкала; каждый день приносят их множество в Севилью.

пилки, я нашел золотую монету в два пиастра. Тут уж я не сомневался, что это подарок Кармен. Для цыган свобода составляет все, и они готовы сжечь город, чтоб избавиться однодневного заключения в тюрьме. Через час самая толстая железная полоса в решетке была перепилена, и у первого ветошника, с придачею двух пиастров, я мог бы променять солдатское платье на партикулярное. Человеку, который не раз лазил по скалам доставать орлят в гнездах, немудрено было спуститься на улицу из окна, вышиной от земли меньше тридцати футов; но я не хотел убежать. Солдатская честь еще была во мне, и дезертирство казалось мне большим преступлением. Как бы то ни было, я был тронут этим знаком памяти обо мне Кармен. Когда сидишь в тюрьме, приятно думать, что на свободе есть друг, принимающий в тебе участие. Только золотая монета беспокоила меня, хотелось бы отдать ее назад; но кому?

После того, как меня разжаловали в рядовые, я думал, что мне уже ничего не остается больше терпеть, но мне предстояло еще унижение: только что вышел я из тюрьмы, меня поставили на часы, как простого солдата. Вы не можете вообразить, что чувствует человек с душой в подобном

случае! Кажется, лучше согласился бы, чтоб меня расстреляли. По крайней мере, тогда идешь вперед своего взвода; чувствуешь, что что-нибудь значишь; все за тебя смотрят.

Меня поставили на часы у дверей дома нашего полковника. Это был молодой, богатый человек, добрый малой, любивший повеселиться. У него была в гостях вся молодежь — офицерство, много статских, были и женщины, кажется, актрисы. А я... мне казалось, весь город собрался в полковнику, чтоб посмотреть на меня. Вот подъезжает карета полковника; его камердинер на запятках. Отворяются дверцы: кто ж, думаете, выходит? Цыганка. Она была разодета в пух, вся в золоте, в лентах. Платье с блестками, голубые башмаки также с блестками, везде цветы и позумент. В руке у ней был тамбурин. За ней вылезли из кареты еще две цыганки, одна молодая, другая старуха; с молодыми всегда бывает старуха, да старик с гитарой, тоже цыган; он играет, они пляшут. Цыганок, вы знаете, часто зовут в общества танцовать *ромалис:* это их пляска.

Кармен узнала меня, и мы обменялись взглядом. В эту минуту, мне хотелось бы провалиться сквозь землю.

— *Agur laguna* (здравствуй, товарищ), — сказа-

ла она. — А, молодец! ты стоишь на часах, как рекрут.

И не успел я вымолвить слова, она была уже в доме.

Все общество было на дворе и, несмотря на толпу, я сквозь решетку видел почти все, что там делалось[7]. Слышал я кастаньеты, тамбурин, хохот, «браво»; по временам замечал я голову Кармен, когда она плясала с тамбурином. Потом я слышал, как офицеры говорили ей такие вещи, от которых кровь бросалась мне в лицо. Что она отвечала, не знаю. Именно с этого дня, я думаю, начал я любить ее, потому что мне раза три-четыре приходила в голову мысль войти во двор и перебить всех этих повес, говоривших ей нежности. С добрый час продолжалось мое мучение; потом цыганки вышли и отправились домой в карете. Кармен, проходя мимо, сказала мне тихонько: «Земляк, если любишь полакомиться, приходи в Триану, к Лильяс Пастиа». Легкая, как козленок, она прыгнула в карету, кучер ударил по

---

[7] Примечания: 7

В большей части домов в Севилье вы найдете внутренний двор, окруженный портиками. Там хозяева и гости проводят летние дни. Этот двор покрывается полотном, которое днем вбрызгивают водой, а на ночь снимают. Ворота на улицу почти всегда отворены, проход, ведущий во двор, *saguan,* заставляется железной решёткой изящной отделки.

лошакам, и вся эта веселая компания умчалась Бог весть куда.

Нетрудно вам догадаться, что как скоро я сменился с караула, тотчас отправился в Триану, выбрившись и вычистившись, точно на парад. Она была у Лильяс Пастиа — старого цыгана, черного, как мавр; много горожан собиралось к нему есть жареную рыбу, особенно, думаю, с тех пор, как появилась у него Кармен. «Лильяс, — сказала она, увидев меня, — сегодня я не буду здесь. Пойдем, земляк, гулять». Она накинула на себя мантилью, и вот мы на улице. «Кармен, — сказал я, — я должен поблагодарить тебя за подарок, который ты прислала мне в тюрьму. Булку я съел. Пилой отточу я свое копье — и сберегу ее на память о тебе, а деньги — вот они».

— Смотри, пожалуй, он сберег деньги! — сказала она с хохотом. — Впрочем, тем лучше, я сама теперь не при деньгах. Проедим их. Ты меня угощаешь.

Мы пошли по дороге в Севилью; у входа в улицу Змеи она купила дюжину апельсинов и велела завязать их мне в платок. Немного подальше она купила еще хлеба, колбасу, бутылку мансанилы; потом вошла в кондитерскую. Там она кинула на конторку золотую монету, которую я ей отдал,

потом другую, которую достала из своего кармана; наконец спросила, нет ли у меня еще денег. У меня было несколько куартосов, и я отдал их, стыдясь, что не было больше. Я думал, что она хочет скупить всю лавку. Она набрала всего, что было самого лучшего и дорогого, *yemat*[8], *luron*[9], сахарных фруктов, промотала все деньги. Эти покупки я должен был нести в бумажных картузах. Вы знаете, может быть, улицу Кандилехо, где стоит голова короля дона-Педро Жестокого [10]. Мы остановились в этой улице перед ветхим домом. Кармен постучала в окно нижнего этажа. Какая-то цыганка, настоящая служанка сатаны, отворила нам. Кармен сказала ей несколько слов на цыганском языке. Старуха сначала было заворчала. Чтоб успокоить ее. Кармен дала ей два

---

[8] Примечания: 8

Сахарные яичные желтки.

[9] Примечания: 9

Род миндального пирожного.

[10] Примечания: 10

Король дон-Педро, известный под именем Жестокого, любил, подобно Гарун-аль-Рашиду, гулять по вечерам по улицам Севильи и искать приключения. Однажды ночью, в уединенной улице, он поссорился с человеком, дававшим серенаду. Ссора кончилась дуэлью, и король убил влюбленного кавалера. При звуке шпаг какая-то старуха высунула голову в окно и осветила сцену лампой, *candilejo,* которую держала в рукам. Надо знать, что король дон-Педро имел странный телесный недостаток: когда он шел, его коленные чашки стучали. Старуха по этому звуку легко узнала его. На другой день дежурный полицейский

чиновник явился к королю с докладом: «Ваше величество, в эту ночь, в такой-то улице была дуэль. Один из дравшихся убит». — «Узнали ли вы, кто убийца?» — «Узнал, ваше величество». — «Почему он до сих пор не наказан?» — «Ваше величество, я жду ваших приказаний». — «Исполняйте закон». А надо знать, что король указом повелел отрубать голову каждому дуэлисту и выставлять ее на месте битвы. Чиновник извернулся в этом случае, как умный человек. Он велел отпилить голову от статуи короля и выставил ее в нише среди улицы, где совершилось убийство. Эта выдумка очень понравилась королю и всем севильцам. Улица получила название от лампы старушки — единственной свидетельницы приключения. Таково народное предание. Как бы то ни было, до сих пор существует в Севилье улица Кандилехо, и в этой улице каменный бюст, который считается портретом дона-Педро. К сожалению, этот бюст новейшей работы. Прежний крайне устарел в XVII столетии, и тогдашнее городское начальство заменило его новым.

апельсина, горсть конфектов, поднесла вина. Потом накинула ей на спину мантию, выпроводила в двери и заперла их деревянным засовом. Как скоро мы остались одни, она начала плакать и смеяться, как сумасшедшая, припевая: «Ты мой *ром,* я твоя *роми*».[11] Я стоял среди комнаты с пакетами в руках, не зная, куда положить их. Она бросила все на пол, и кинулась мне на шею, говоря: «Я хочу заплатить долг свой… Ну, душа, гуляй сегодня…»

Дон-Хозе на минуту замолчал: потом, закурив сигару, продолжал:

— Мы провели вдвоем целый день, ели, пили — и прочее. Наевшись конфектов, как шестилетний ребенок, она бросала их пригоршнями в кувшин с водой, приговаривая: это будет шербет для старухи… Сахарные орехи бросала в стену и разбивала; это, говорила она, затем, чтоб мухи боялись, от нас отвязались… Нет дурачества, которого бы она не сделала. Я сказал, что мне хотелось бы посмотреть, как она пляшет; но где достать кастаньетов? Кармен, не задумавшись, берет единственную тарелку, бывшую в комнате, разбивает ее в куски и пляшет *ромалисе,* пристукивая кусками фаянса,

[11] Примечания: 11
Ром — муж; *роми* — жена.

так же хорошо, как будто в руках у ней были кастаньеты из черного дерева или слоновой кости. Нельзя было соскучиться с этой девушкой, уверяю вас. Наступил вечер: слышу; бьют зорю. Пора, говорю, идти в казармы, на перекличку. «В казармы? — сказала она презрительно. — Так ты негр, ходишь на веревочке? Ты настоящая канарейка [12] и по платью, и по характеру. Ступай, у тебя куриное сердце». Я остался, зная наперед, что не миновать мне ареста. Утром она первая сказала, что пора расстаться. «Слушай, Хозеито, — спросила она, — расплатилась ли я с тобой? По нашему закону, я тебе не была должна, потому что ты не наш, *payllo;* но ты пригож и мне понравился. Мы квиты. Прощай». Я спросил, когда опять увидимся. «Когда ты будешь не так глуп, — сказала она смеясь. Потом прибавила серьёзнее. — Знаешь ли? мне кажется, я тебя люблю немножко. Но это ненадолго. Собаке и волку вместе не ужиться. Может быть, если б ты принял цыганский закон, я решилась бы сделаться твоей *роми.* Но это глупости: этого быть не может…Прощай, канарейка, и поверь, ты отделался от меня очень дешево, ты встретил чорта, да, чорта… но он не всегда

---

[12] Примечания: 12
Испанские драгуны косят желтый мундир.

черен и не свернул тебе шеи… Поставь свечку перед твоей Majari [13]: она заслужила ее. Ну, еще раз прощай. Не думай больше о Карменсите; не то она женит тебя на вдовушке с деревянными ножками»[14].

Говоря это, она отняла засов от дверей: мы вышли на улицу; она закуталась в мантилью и пошла прочь от меня.

Кармен говорила правду. Хорошо бы я сделал, если б перестал думать об ней, но с этого дня, проведенного в улице Кандилехо, я не мог думать ни о чем другом. Целый день бродил я по городу, надеясь встретить Кармен, спрашивал о ней у старухи, у Лильяс Пастиа. Мне отвечали, что она отправилась в *Лалора*[15], то есть Португалию. Вероятно, так велела отвечать им Кармен; но я скоро узнал, что они лгут. Спустя несколько недель после того дня, который провел я в улице Кандилехо, я стоял на часах у городских ворот. Недалеко от этих ворот, обвалилась часть городской стены; днем заделывали брешь, а на ночь

---

[13] Примечания: 13
Святая — Святая Дева.

[14] Примечания: 14
Виселица, оставшаяся вдовою от последнего висельника.

[15] Примечания: 15
Красная земля.

ставили тут часового, чтоб не пробирались этой дорогой контрабандисты… В течение дня я видел, что Лильяс Пастиа несколько раз проходил мимо караульни и разговаривал с некоторыми из моих товарищей; его все знали. Он подошел ко мне и спросил, не имею ли я каких вестей о Кармен. Нет, говорю ему. «Ну, так будешь иметь». Он не ошибся. На ночь, меня поставили на часы у бреши. Только что капрал ушел, вижу, идет ко мне какая-то женщина. Сердце говорило мне, что это Кармен. Я закричал однако ж: «Прочь! здесь не пускают!»

— Экой злой! — сказала мне она, спуская с головы мантилью.

— Как, это ты, Кармен?

— Да, земляк. Потолкуем немного, поговорим о деле. Хочешь заработать дуро? Придут сюда люди с узлами; не мешай им.

— Нет, — говорю, — я должен помешать им, так приказано.

— Приказано! Приказано! А ведь ты не думал о приказе в улице Кандилехо?

Воспоминание об этом дне задело меня за живое.

— Да, — говорю, — там стоило забыть приказ; но я не хочу денег контрабандистов.

— Посмотрим, не хочешь денег, так, может быть, хочешь опять идти со мной к старой Доротее?

— Нет! — сказал я, делая над собой величайшее усилие, — не могу.

— Ну, хорошо; коли не хочешь, так я знаю, к кому обратиться. Я позову с собой к Доротее твоего вахмистра. Он, кажется, малой добрый и поставит на часы такого молодца, который не увидит чего не надо видеть. Прощай, канарейка! Посмеюсь же я в тот день, когда приказано будет повесить тебя.

Я имел слабость кликнуть ее назад и обещал пропустить, если нужно, всю цыганщину, только бы получить от нее единственную награду, которой желал. Она обещала сдержать слово завтра и побежала к двоим друзьям, стоявшим шагах в двух от нас. Их было пятеро, в том числе Пастиа; у всех были тяжелые связки с английскими товарами. Кармен сторожила. Она должна была подать знак кастаньетами, если заметит дозор; но в этом не было надобности. Контрабандисты мигом сделали свое дело.

На другой день пошел я в улицу Кандилехо. Долго ждал Кармен; наконец, она пришла сердитая.

— Не люблю людей, которые заставляют себя

упрашивать, — говорила она. — В первый раз ты оказал мне услугу гораздо важнее, а тогда ты не знал, получишь ли что-нибудь за нее. Вчера ты торговался со мной. Не знаю, зачем я пришла: я больше не люблю тебя. Ступай вон! Вот тебе дуро за хлопоты.

Я чуть не бросил ей деньги в лицо, и большего труда стояло мне удержаться, чтоб не поколотить ее. Побранившись, рассерженный я ушел. Несколько времени бродил я по городу, как сумасшедший, наконец вошел в церковь и, став в самом темном углу, заплакал горькими слезами. Вдруг слышу голос: «Что я вижу? слезы у драгуна! Хорошо бы сделать из них любовный напиток!» Подымаю глаза: передо мной стоит Кармен.

— Ну, что, земляк? Ты все еще сердишься на меня? — сказала она. — Видно, я еще люблю тебя, хоть и сержусь; как ушел ты от меня, я сделалась сама не своя. Теперь я спрашиваю тебя, хочешь ли идти в улицу Кандилехо?

Итак, мы помирились; но у Кармен нрав был точно погода у нас, в наших горах, когда солнце светит слишком ярко, того и гляди, грянет гром. Она обещала повидаться со мной в другой раз у Доротеи и — не пришла. И Доротея опять сказала, что Кармен отправилась в Лалоро по делам

цыганским.

Зная уже по опыту, как принимать эти слова, я искал Кармен везде, где она могла быть, и раз двадцать в день проходил по улице Кандилехо. Однажды вечером я был у Доротеи, с которой почти подружился, угощая ее по временам анисовой водкой; вдруг входит Кармен в сопровождении молодого человека, поручика нашего полка.

— Уходи отсюда поскорее, — сказала она мне по-баскски.

Я не трогался с места; бешенство кипело в моем сердце.

— Что ты здесь делаешь? — сказал мне поручик. — Марш отсюда!

Я не мог сделать шага, точно был пригвожден к полу. Офицер в гневе, что я не ухожу и даже не снимаю перед ним фуражки, схватил меня за воротник. Не помню, что я сказал ему. Он выхватил саблю и ударил меня сначала плашмя. Тут я совершенно вышел из себя и также обнажил шпагу. Старуха остановила мою руку, и поручик ударил меня саблей в голову, след этого удара виден еще и теперь. Я отскочил назад, толкнул локтем Доротею, так что она упала навзничь, а преследовавший меня поручик наскочил на острие моей сабли… Тут Кармен погасила лампу

и сказала за своем языке Доротее, чтоб та бежала. Я сам выскочил также за улицу и побежал, сам не знаю куда. Мне казалось, кто-то следует за мной. Действительно, опомнившись, я увидел подле себя Кармен. «Глупая канарейка, — сказала она, — только глупости ты и умеешь делать! Но нечего: всему можно помочь, когда есть приятельница цыганка. Прежде всего накинь себе на голову вот этот платок и подай мне свою портупею. Подожди меня здесь. Я мигом ворочусь». Она исчезла и скоро принесла мне полосатую мантию, которую достала не знаю где. Я скинул мундир и надел мантию сверх рубашки. В таком костюме, с платком, закрывавшим мою рану на голове, я походил на валенсийского мужика, который пришел в Севилью продавать оршад из *chufat*[16]. Затем она отвела меня в дом, похожий на дом Доротеи и стоявший в глубине какого-то переулка. Там она сама и другая цыганка обмыли меня, перевязали рану, как не перевязал бы наш полковой фельдшер, дали мне чего-то выпить, уложили на тюфяк, и я заснул.

Вероятно, эти женщины подбавили в мое питье какого-нибудь усыпительного зелья, потому что

---

[16] Примечания: 16

Chufat — луковичный корень, из которого приготовляют довольно приятное питье.

я проснулся уже на другой день очень поздно и чувствовал сильную головную боль и маленькую лихорадку. Не скоро вспомнил я страшную сцену, в которой участвовал накануне. Перевязав снова мою рану, Кармен и ее приятельница, сидевшие подле моего тюфяка, обменялись несколькими словами на цыганском языке, и этот разговор составлял, кажется, медицинскую консультацию. Потом они обе объявили, что я скоро выздоровею, но что надо как можно проворнее убраться из Севильи, потому что, если буду пойман, меня непременно расстреляют.

— Земляк, — сказала мне Кармен, — тебе надо чем-нибудь заняться; теперь, когда ты уже не будешь получать хлеба от короля, надо подумать, чем бы прокормиться. Ты так глуп, что не можешь воровать; но ты проворен и силен; если у тебя достанет смелости, ступай на берег и сделайся контрабандистом. Я же ведь обещала, что тебя повесят. Это все-таки лучше, чем быть расстрелянным.

В таком-то заманчивом виде представляла мне Кармен новое поприще, которое избрала для меня, и, правду сказать, теперь, когда я заслужил смертную казнь, это поприще одно и оставалось мне. Не большего труда стояло ей уговорить меня.

Мне казалось, что эта жизнь тревожная и мятежная теснее соединит меня с нею. Я думал этой жизнью приобрести любовь ее. Часто слыхал я про контрабандистов, которые на доброй лошади разъезжали по Андалузии с мушкетоном в руке, с любовницей за спиной. Я уже воображал, как буду скакать по горам и долинам и пригожая цыганка будет сидеть позади меня. Когда я говорил ей об этом, она помирала со смеха и говорила, что ничего не может быть прекраснее ночи на бивуаке, когда каждый *рома* удаляется с своей *роми* в палатку.

— Если ты будешь со мной в горах, — говорил я, — я буду спокоен насчет тебя. Там нет поручиков, и не с кем будет мне делить тебя.

— А! ты ревнив, — отвечала она. — Тебе же хуже. Как можно быть до такой степени глупым? Разве не видишь, что я люблю тебя, потому что никогда не требовала от тебя денег?

Когда она говорила таким образом, мне хотелось задушить ее.

Когда я выздоровел, Кармен достала мне партикулярное платье, и я вышел из Севильи, не быв никем узнан. Я отправился в Херес с письмом Пастиа к одному виноторговцу, у которого собирались контрабандисты. Начальник их, по

имени Данкаир, принял меня в свою шайку. Мы отправились в Гаусин, где встретил я Кармен, назначившую мне там свидание. В экспедициях, она служила нашей шайке шпионом, и лучшего шпиона нельзя было сыскать. Она возвращалась из Гибралтара, где уговорилась с хозяином одного корабля о выгрузке английских товаров, которые мы должны были принять на берегу. Мы дождались этой выгрузки близь Эстепоны; часть товаров спрятали в горах, с остальными отправились в Ронду. Кармен поехала туда прежде нас и потом уведомила, когда безопаснее войти в город. Это первое путешествие и следующие кончились благополучно. Жизнь контрабандиста мне нравилась больше солдатской; я делал подарки Кармен. Деньги водились. Везде принимали нас хорошо; товарищи были дружны со мной и даже оказывали мне уважение, потому что я убил уже на своем веку одного человека, тогда как в числе их были такие, которые не имели на совести подобного подвига. Но особенно в этой новой жизни нравилось мне то, что я часто видал Кармен. Она была дружнее со мною, чем прежде, но перед товарищами не выказывала, что была моей любовницей, даже взяла с меня страшную клятву не говорить им ничего на ее счет. Я был до такой

степени слаб перед этой тварью, что повиновался всем ее прихотям. Притом в первый раз видел я в ней такую скромность честной женщины и в простоте сердца думал, что она действительно изменила свой образ жизни.

Шайка наша, состоявшая из восьми или десяти человек, соединялась только в решительные минуты; обыкновенно же мы рассеяны были по городам и селениям, по два, по три человека. Каждый из нас имел для вида какой-нибудь промысел: тот был медником, другой барышником; я торговал суровскими товарами, но, по причине севильского дела, не показывался в местах, где было много народа. Раз — это было ночью — всей шайке назначено было собраться у Вехера. Данкаир и я мы пришли раньше других. Он был весел. «К нам прибудет еще товарищ, — сказал он мне. — Кармен сыграла удивительную штуку. Она помогла своему *рома* бежать с тарифских галер». Я уже начинал понимать цыганский язык, на котором говорили почти все мои товарищи, и слово *рома* крайне поразило меня.

— Как! ее муж? Так она замужем? — спросил я контрабандиста.

— Да, — отвечал он — за Гарсией Кривым, таким же плутом-цыганом, как она сама. Кривой

был на галерах. Два года Кармен старалась освободить его. Все не удавалось, пока не сменили смотрителя за галерах; с новым она скоро поладила. О, это золотая девка!

Можете вообразить, какое удовольствие доставила мне эта новость. Скоро увидел я Гарсию Кривого; это было самое гадкое чудовище, вскормленное цыганщиной; черный телом, еще чернее душой, он был злодеем, какого я не встречал в жизни. Кармен пришла с ним, и когда она называла его при мне своим *рома,* надо было видеть глаза, какие она мне делала, и ее гримасы, когда Гарсия отворачивался от нас. Я был сердит и не говорил с ней целую ночь. Утром мы увязали, как следует, контрабанду, навьючили лошаков и были уже в дороге, как увидели, что дюжина всадников гонится за нами. Андалузцы, хвастав-шиеся перед тем геройством, оказались жалкими трусами; только Данкаир, Гарсия, Кармен да молодой человек из Эсихи, по имени Ремендадо, не потеряли бодрости. Прочие покинули лошаков и бросились в овраги, куда всадники не могли за ними следовать. Спасти лошаков было нельзя; мы выбрали получше товары, взвалили их себе на плечи и старались спастись, взбираясь за крутые утесы. Между тем неприятель стрелял

в нас, как в уток; и первый раз слышал я тогда свист пуль и, признаюсь, не робел. Мы спаслись все, исключая бедного Ремендадо, которому пуля попала в ногу. Я кинул свою связку товаров и хотел поднять его и нести.

— Дурак! — вскричал мне Гарсия. — Что нам делать с падалью? Доканай его, да возьми опять свою связку.

— Кинь его, кинь! — кричала мне Кармен.

Усталость заставила меня опустить Ремендадо наземь. Гарсия подошел и выстрелил в него из мушкетона.

— Молодец будет тот, кто его теперь узнает, — сказал он, смотря на Ремендадо, лицо которого разорвано было в куски двенадцатью пулями.

Вот, сударь, какую жизнь вел я!

Вечером, измученные, голодные, разоренные потерею лошаков, мы отдыхали в кустарнике. Что же, вы думаете, стал делать этот проклятый Гарсия? Он вынул из кармана карты и стал играть с Данкаиром при свете огня, который мы разложили. Я в это время лежал за траве, смотрел на звезды, думал о Ремендадо и говорил сам себе, что лучше бы мне быть на его месте. Кармен сидела подле меня, и время от времени постукивала в кастаньеты, напевая что-то вполголоса. Потом,

нагнувшись ко мне, как бы желая сказать что-то на ухо, два-три раза почти насильно поцеловала меня. «Ты дьявол!» — говорил я ей. «Да», — отвечала она.

Отдохнув несколько часов, она отправилась в Гаусин, и на другой день утром мальчик, козий пастух, принес нам хлеба. Мы пробыли тут целый день и ночью подошли поближе к Гаусину. Ждали вестей от Кармен, их не было. На третий день, глядим: идет по дороге погонщик лошаков; рядом с ним на лошаке хорошо одетая женщина под зонтиком, а вслед за ней девочка, должно быть, ее служанка. Гарсиа говорит нам: «Смотрите-ка: чудотворец Николай посылает нам двух лошаков и двух женщин; правда, лучше бы четыре лошака, но на этот раз и того довольно». Он взял мушкетон и спустился к дороге, скрываясь в кустарниках. Мы, Данкаир и я, следовали за ним немного поодаль. Когда путешественники поравнялись с нами, мы вышли из-за кустов и закричали погонщику: «Стой!» Женщина, увидев нас, вместо того, чтоб испугаться, — а один наш костюм мог испугать хоть кого, — захохотала.

— Ах, вы *lillipendi* (дураки), — вскричала она: сочли меня за *erani* (барыню).

То была Кармен, но так переодета, что говори

она на другом языке, я никогда не узнал бы ее. Она спрыгнула с лошака, поговорила тихонько с Данкаиром и Гарсией, потом сказала мне:

— Канарейка, мы увидимся прежде, чем тебя повесят. Я еду в Гибралтар по делам цыганским. Вы скоро получите от меня вести.

— На прощанье она указала нам место, где мы могли найти на несколько дней приют. Эта девка была провидением нашей шайки. Скоро мы получили от нее немного денег и известие еще лучше денег, что в такой-то день, по такой-то дороге поедут из Гибралтара в Гренаду два английские лорда, у которых много гиней. Гарсиа хотел убить их, но Данкир и я — мы воспротивились. Кроме рубашек, в которых мы крайне нуждались, отобрали у них только деньги да часы.

Да, сударь, негодяем сделаться легко. Хорошенькая девушка вскружит тебе голову; подерешься за нее, убьешь противника, должен бежать в горы и из контрабандиста становишься разбойником прежде, чем успеешь подумать о своем положении. Мы рассудили, что, по ограблении милордов, нам неловко оставаться в окрестностях Гибралтара, и потому углубились в Рондскую Сьерру.

Вы говорили мне как-то о Хозе-Мария: там я познакомился с ним. С ним была его любовни-

ца; она никогда не отставала от него. Это была пригожая девушка, умная, скромная; никогда не скажет, бывало, непристойного слова, а какая преданность! И за все это он обращался с ней очень дурно, волочился за всеми девушками и иногда вдруг прикидывался ревнивцем. Раз он ударил ее ножом. Что ж? она еще более стала любить его. Уж так созданы женщины, особенно андалузянки! Любовница Хозе-Марии гордилась рубцом. оставшимся на руке ее от раны. К довершению всего этого, Хозе-Мария был дурной товарищ… В одной экспедиции с нами вместе он устроил дело так, что весь барыш достался на его долю, а на нашу — только удары да хлопоты. Но возвратимся к моей истории.

Долго о Кармен не было никаких слухов. Данкаир говорил: кому-нибудь из нас надо побывать в Гибралтаре и повидаться с ней: верно, она затеяла какое-нибудь дело. Я бы отправился сам, но меня все знают в Гибралтаре. Кривой возразил: «И меня также; раки[17], верно, еще не забыли меня, и так как у меня только один глаз, то, как я ни переоденься, все немудрено узнать меня». — «Значит, мне надо идти? — спросил я в свою очередь, раду-

[17] Примечания: 17

Так простой народ Испании зовет англичан, по причине красного мундира их.

ясь случаю повидаться с Кармен. — Ну, так что же мне делать?» Товарищи говорят: «Ступай водой или сухим путем, как хочешь, и когда будешь в Гибралтаре, спроси в порте, где живет торговка шоколадом, по имени Роллона; если найдешь ее, то узнаешь все, что нужно». Условились, чтоб всем троим отправиться в Гаусинскую Сьерру: там я должен был расстаться с товарищами и отправиться в Гибралтар под видом продавца фруктов. В Ронде человек, преданный нам, достал мне паспорт; в Гаусине дали мне осла; я навьючил его апельсинами и дынями и пустился в дорогу. Прибыв в Гибралтар, я не нашел Роллоны: она или умерла или сослана была на галеры, и этим объяснялось, почему прекратились наши сношения с Кармен. Поставив осла в конюшне и набрав апельсинов, я пошел в город продавать их, думая, не встречу ли где знакомого лица. В Гибралтаре много всякой сволочи, стекающейся туда из всех стран света; это настоящая вавилонская башня: пройдите десять шагов по улице, непременно услышите столько же языков. Много видел я цыган, но не смел довериться им, я их щупал, и они меня щупали. Мы отгадывали, что мы — негодяи; только не знали, одной ли шайки. Два дня прошлялся я по городу, не узнав ничего ни о

Роллоне, ни о Кармен, и уже думал отправиться назад к товарищам. Вдруг, иду я по улице при закате солнца и слышу женский голос из окна: «Разносчик!» Подымаю голову и вижу: на балконе стоит Кармен, опираясь на руку толстого офицера в красном мундире с золотыми эполетами. Она одета была богато — на плечах шаль, на голове золотая гребенка, платье шелковое. Англичанин на ломаном испанском языке закричал мне, чтоб я шел наверх, что барыня хочет апельсинов, а Кармен сказала мне по-баскски: «Ступай сюда и ничему не удивляйся». Не знаю, чего более, радости или досады чувствовал я, отыскав Кармен. У дверей стоял высокий напудренный английский лакей, который провел меня в богатую гостиную. Кармен, лишь только я вошел, сказала мне по-баскски: «Ты не знаешь ни слова по-испански, ты не знаком со мной». Потом, обратясь к англичанину, продолжала: «Не правду ли я говорила вам? Я тотчас узнала, что это баск: вы услышите, что это за смешной язык. Посмотрите, какое у него глупое лицо, не правда ли? Точно кошка, которую застали в кладовой». — «А у тебя, — сказал я ей по-баскски, — такое бесстыдное лицо, что вот так и хочется хватить тебя кулаком при твоем любовнике». — «Любовнике? Какой же ты угадчик?

И ты ревнуешь меня к этому дураку! Нет, ты, я вижу, стал глупее, чем был на улице Кандалехо. Разве не видишь что я обделываю теперь на славу цыганское дело? Этот дом — мой; гинеи этого рака будут мои; я вожу его за нос, и приведу туда, откуда ему никогда не выйти».

— А я, если ты будешь еще обделывать этак цыганские дела, сделаю, что ты в другой раз не принималась за них.

— Вот что! Да разве ты мой ром и можешь мне приказывать? Кривому это нравится, так тебе какое дело? Будет с тебя того, что ты один можешь сказать, что был мой *minchoro*[18].

— Что такое он говорит? — спросил англичанин.

— Он говорит, что ему хочется пить, — отвечала Кармен и, раскинувшись на канапе, засмеялась, что так ловко перевела наш разговор.

А когда, сударь, Кармен смеялась, нельзя было не смеяться с ней. Толстый англичанин сдуру тоже засмеялся и приказал подать мне пить.

В то время, как я пил, Кармен сказала: «Видишь этот перстень, что у него на пальце? Хочешь, подарю тебе?» Но я отвечал: я отдал бы палец, чтоб

---

[18] Примечания: 18
Любовником, или, вернее, прихотью.

только мне да твоему милорду сойтись в горах, с *макилами* в руках.

Англичанин расслушал это слово и спросил: «*Макила,* что это такое?»

— *Макила,* — сказала Кармен, продолжая смеяться, — значит апельсин. Не правда ли, как смешно зовут они апельсины? Он говорит, что ему хотелось бы попотчивать вас *макилой.*

— Да? — сказал англичанин. — Ну, так принеси и завтра *макилы.*

В то время, как мы говорили, вошел лакей и доложил, что обед готов. Англичанин встал, дал мне пиастр и подал руку Кармен, как будто она не могла идти одна. Кармен, все со смехом, сказала мне:

— Я не могу пригласить тебя на обед, но завтра, как только станут бить сбор на парад, приходи сюда с апельсинами. Ты найдешь комнату, меблированную получше комнаты в улице Кандилехо, и увидишь, все ли я по-прежнему твоя Карменсита. Потом мы потолкуем и о делах цыганских.

Я ушел, и вследь мне несся хохот Кармен и крик англичанина: «Приноси же завтра *макилы!*»

Я вышел сам не свой. Ночь я не спал, и утром был в такой досаде на изменницу, что решился, не видавшись с нею, отправиться из Гибралтара.

Но при первом ударе барабана мужество покинуло меня; я взял лоток с апельсинами и побежал к Кармен. Стора окна ее была приподнята, и я видел большой черный глаз ее, высматривавший меня. Напудренный лакей тотчас ввел меня к ней. Кармен дала ему какое-то поручение, и как скоро мы остались одни, она засмеялась диким смехом крокодила и бросилась мне на шею. Никогда не видал я ее прекраснее. Убрана, опрыскана духами… мебель, крытая шёлком; занавесы, шитые золотом… а я — черен и грязен, как разбойник! «*Минчорр,* — говорила Кармен, — мне хочется все перебить здесь, поджечь дом и убежать в Сьерру». И затем следовали нежности… и потом смех… и потом она плясала и рвала фалбалы на своем платье: никогда обезьяна не делает таких прыжков, таких гримас, таких шалостей! Наконец она угомонилась и сказала мне: «Слушай, поговорим о деле. Я хочу, чтоб он отвез меня в Ронду, где, видишь ли, у меня сестра-монахиня… (тут новый хохот). Мы проезжаем через одно место, которое я тебе скажу. Вы бросаетесь на него, но, — прибавила она с дьявольской улыбкой, — знаешь ли, что надо сделать? Пусть Кривой выйдет первый. Вы держитесь немного поодаль. Рак ловок и храбр; пистолеты у него добрые… понимаешь?» Она

снова захохотала, и от этого хохота меня кинуло в дрожь.

— Нет, — сказал я, — ненавижу Гарсию, но он мой товарищ. Со временем, может быть, я освобожу тебя от него, но мы рассчитаемся с ним честно, по-наваррски. Я цыган только случайно, и всегда останусь Наваррцем.

— Ты глуп, настоящий *payllo.* Ты точно карлик, который считает себя большим, потому что может далеко плевать[19]. Ты не любишь меня; убирайся вон!

Когда она мне говорила: «Ступай вон», я не мог идти вон. Я дал ей слово воротиться к товарищам и дожидаться англичанина; с своей стороны, она мне обещала прикидываться больною до отъезда из Гибралтара в Ронду. Я пробыл еще два дня в Гибралтаре. Она приходила ко мне, переодетая, в гостиницу. Наконец я уехал, но у меня в голове был свои план. Я воротился к товарищам, узнав час и место, где будут проезжать англичанин и Кармен. Данкаир и Гарсия ждали меня. Ночь провели мы в лесу, разложив огонь из сосновых шишек, которые горели чудесно. Я предложил Гарсии играть в карты. Он согласился. Во вто-

---

[19] Примечания: 19
Цыганская пословица.

рую партию я сказал ему, что он плутует; Гарсия засмеялся. Я кинул ему карты в лицо. Он хотел взять свой мушкетон, но я наступил на него ногой и сказал: «Говорят, ты умеешь драться на ножах; хочешь попробовать со мной?» Данкаир хотел разнять нас. Между тем я уже два-три раза ударил кулаком Гарсию. Гнев придал ему храбрость; он выхватил свой нож, я свой. Мы оба сказали Данкаиру, чтоб не мешал нам. Он видел, что нет возможности нас остановить, и отошел в сторону. Гарсия съежился, как кошка, готовая прыгнуть на мышь. В левой руке держал он шляпу, чтоб отбивать удары, а нож выставил вперед. Такова уж манера андалузцев. Я стал по-наваррски, прямо перед ним, подняв левую руку, выставил левую ногу вперед, а нож держал вдоль правого бедра. Кривой кинулся на меня, как молния: я повернулся на левой ноге, и он ударил ножом в воздух; зато я попал ему прямо в горло, и нож вошел так глубоко, что рука моя была под подбородком Кривого. Я сильно повернул нож, и он переломился. Дело было кончено. Клинок ножа вышел вместе с широкою струею густой крови. Цыган рухнул наземь, как пень.

— Что ты сделал! — сказал мне Данкаир.

— Послушай, — сказал я ему, — мы не могли

жить вместе. Я люблю Кармен и хочу быть один. Притом Гарсия быль бездельник, и я не могу забыть, что он сделал с бедным Ремендадо. Теперь нас только двое, зато мы — добрые малые. Хочешь, чтоб я был твоим другом на жизнь и смерть?

Данкаир протянул мне руку. Он был человек лет пятидесяти.

— К чорту эта любовь! — вскричал он. — Если б ты потребовал у него Кармен, он продал бы тебе ее за пиастр. Нас теперь только двое: что же мы можем сделать завтра?

— Я справлюсь один, — отвечал я. — Теперь мне все нипочем.

Мы похоронили Гарсию и перенесли свой бивуак на двести шагов далее. На другой день Кармен и англичанин проезжали с двумя погонщиками и слугой. Я сказал Данканру: «На свою долю беру я англичанина, а ты пугни других; они не вооружены». Англичанин был храбр, и если б Кармен не толкнула его под руку, он убил бы меня. Коротко сказать, я с бою взял Кармен, и первое мое слово ей было, что она вдова. Узнав, как это случилось, она сказала мне:

— Ты всегда будешь *lillipendi.* Гарсия должен был убить тебя. Твоя наваррская манера драться

— глупость, и он убивал не таких, как ты. Вся сила в том, что пришло его время. Придет и твое.

— И твое, — отвечал я, — если ты не будешь для меня настоящей *роми.*

— Да, — сказала она, — я не раз, гадая на кофе, видела, что нам суждено кончить жизнь вместе. Что ж? пусть будет что будет! — И она ударила в кастаньеты, что делала всегда, когда хотела прогнать от себя какую-нибудь неприятную мысль.

Все эти подробности, вероятно, вам наскучили, но я скоро кончу. Еще довольно долго вели мы прежнюю жизнь, Данкаир и я — мы подговорили к себе несколько товарищей, понадежнее прежних, и занимались контрабандой; иногда же, надо признаться, останавливались и на большой дороге, но только в последней крайности, когда уже не было другого средства достать денег. Впрочем, мы не убивали путешественников, а только отбирали у них деньги. Несколько месяцев я был доволен Кармен; она была очень полезна для нас, потому что разузнавала, когда и где можно поживиться добычей. Она жила то в Малаге, то в Кордове, то в Гренаде, но по первому слову моему являлась ко мне или в уединенную гостиницу, или на бивуак. Раз только — это было в Малаге — она несколько обеспокоила меня. Я

узнал, что она увивается за богатым купцом, с которым, вероятно, думала повторить гибралтарские проделки. Несмотря на все убеждения Данкаира, я отправился в Малагу и прибыл туда днем, отыскал Кармен и тотчас увез ее с собой. Мы поссорились.

— Знаешь ли, — говорила она мне, — с тех пор, как ты стал мой *ром,* я люблю тебя меньше, чем когда ты был моим *минчорро!* Я не хочу, чтоб меня мучили, особенно командовали мною. Я хочу быть свободною и делать, что мне вздумается. Берегись доводить меня до крайности. Если ты мне надоешь, я сыщу молодца, который сделает с тобой то же, что ты сделал с Кривым.

Данкаир помирил нас, но мы насказали друг другу такие вещи, которые остались у нас на сердце, и между нами не было уже прежней любви. Спустя немного времени нас постигло несчастие. Отряд солдат напал на нас врасплох. Данкаир был убит, двое товарищей — тоже; остальные двое взяты в плен. Я был тяжело ранен, и будь у меня лошадь похуже, непременно попал бы в руки солдат. С пулей в теле ускакал я в лес с единственным товарищем, оставшимся у меня. Слезая с лошади, я лишился чувств и думал, что мне суждено околеть в кустарнике, как подстре-

ленному зайцу. Товарищ отнес меня в знакомую нам пещеру, потом отправился за Кармен. Она была в Гренаде и тотчас явилась. В течении двух недель ни на минуту не покидала она меня, почти не смыкала глаз и ухаживала за мной с такою внимательностью, какую женщина может оказывать только самому любимому человеку. Как скоро в состоянии я был держаться на ногах, тайком провела она меня в Гренаду. Цыганки находят везде безопасный приют, и более полутора месяца провел я в доме, подле самой квартиры коррехидора, который искал меня. Наконец я выздоровел; но во время болезни я имел время поразмыслить о своей будущности и решился переменить образ жизни. Я предложил Кармен оставить Испанию, уехать в Америку и жить там честным образом. Она смеялась надо мной.

— Мы не созданы сажать капусту, — сказала она, — наша участь — жить на счёт *payllus.* Слушай! Я уговорилась с Натаном-бен-Жозефом, что в Гибралтаре: у него есть бумажные материи, которые ждут только тебя, чтоб ты провез их. Он знает, что ты жив, и надеется на тебя. Что скажут наши гибралтарские друзья, если ты не сдержишь слова?

Она уговорила меня, и опять принялся я за свое

жалкое ремесло.

В то время, как я жил тайно в Гренаде, был бой быков, и Кармен пошла туда. Воротившись, она много говорила про ловкого пикадора по имени Лукас. Она знала, как зовут его лошадь и что стоит его шитая золотом куртка. Я не обратил на это внимания. Хуанито, последний товарищ мой, спустя несколько дней, сказал мне, что он видел Кармен с Лукасом в лавке у какого-то купца. Это встревожило меня. Я спросил Кармен, как и для чего познакомилась она с пикадором. «Это такой малой, — сказала она, — которого не надо упускать из рук. В реке, которая шумит, или много воды, или много камней.[20] Он выиграл в цирке 1 200 реалов. Из двух одно: надо или прибрать к рукам эти деньги, или, так как он хороший ездок и не трус, завербовать его в нашу шайку. Тот-то и тот-то умерли; тебе нужно заменить их кем-нибудь. Возьми его с собой».

— Не хочу, — отвечал я, — ни его денег, ни его самого, и запрещаю тебе говорить о нем.

— Берегись, — сказала она, — когда мне запрещают что-нибудь делать, я тотчас это делаю.

К счастию, пикадор отправился в Малагу, а я

---

[20] Примечания: 20
Цыганская пословица.

занялся тайным провозом бумажных материй жида Бен-Жозефа. Много хлопот было и мне и Кармен в этой экспедиции, я забыл про пикадора; может быть, и она тоже забыла его, по крайней мере на ту пору. Около этого времени, сударь, встретил я вас, сначала близь Монтильи, потом в Кордове. Не буду говорить вам о последнем нашем свидании. Вы, может быть, знаете его подробнее меня. Кармен украла у вас часы; она хотела обобрать у вас и деньги, особенно хотелось ей украсть этот перстень, который я вижу на вашем пальце, она говорила, что это волшебное кольцо и что оно ей непременно нужно. Мы поссорились, и я ударил ее. Она побледнела и заплакала. В первый раз видел я, что она плачет, и это страшно на меня подействовало. Я просил у ней прощения, но она сердилась на меня целый день, и когда я отправлялся назад в Монтилью, не хотела обнять меня. Мне было очень прискорбно, но дня через три она явилась ко мне с смеющимся лицом, веселая, как зяблик. Все было забыто, и дня два провели мы как нежные любовники. На прощанье она сказала мне: «В Кордове праздник, хочу посмотреть его; кстати узнаю, кто поедет из города с деньгами, и скажу тебе». Я отпустил ее. Оставшись один, я начал думать об этом празд-

нике и об этой внезапной перемене в Кармен. Верно, уж она отмстила за себя, рассуждал я, иначе не пришла бы ко мне первая. Какой-то добрый человек сказал мне, что в Кордове бой быков. Кровь во мне закипела, и как безумный поскакал я в Кордову. Прихожу на площадь. Мне указали Лукаса, и на скамье, против барьера, узнал я Кармен. Стоило мне посмотреть на нее только минуту, чтоб убедиться в верности моих подозрений. Лукас был точно ловок — он сорвал с быка бант[21] и поднес его Кармен, которая тотчас украсила им свою голову. Бык отмстил за меня. Пикадор от толчка его полетел на арену вместе с лошадью. Я взглянул на Кармен; ее уже не было на месте. Мне нельзя было выбраться из той части цирка, где я сидел, и надо было дождаться конца зрелища. Тогда я пошел в дом, который вы знаете, и пробыл там вечер и часть ночи. Около двух часов утра пришла Кармев и несколько изумилась, увидев меня.

— Едем, — сказал я.

— Едем, — отвечала она. Мы сели на лошадь

---

[21] Примечания: 21

La divisa — бант из лент, цвет которых показывает, откуда бык. Этот бант прикрепляется к коже животного посредством крючка, и пикадор, если хочет показать свою любезность какой-нибудь даме, срывает с живого быка этот бант и подносит ей.

— она сзади меня — и ехали остальную часть ночи, не говоря ни слова. Днем остановились мы в уединенной гостинице, недалеко от монашеской обители. Там я сказал Кармен:

— Послушай, я забываю все. Не буду ни в чем упрекать тебя; только поклянись мне, что поедешь со мной в Америку и будешь жить там спокойно.

— Нет, — отвечала она сердито, — не хочу ехать в Америку; мне и здесь хорошо.

— Потому что здесь твой пикадор? Но не забудь, если он и выздоровеет, ему несдобровать от меня. Впрочем, виноват ли он? Мне надоело убивать твоих любовников; я убью тебя.

Она пристально посмотрела на меня и сказала:

— Я всегда так и думала, что ты убьешь меня. В первый раз, как я увидела тебя, встретился поп у ворот дома. И в эту ночь, выезжая из Кордовы, разве ты не видал? заяц пробежал через дорогу под ногами твоей лошади. Видно, так суждено!

— Карменсита, — спросил я, — неужели ты перестала любить меня?

Кармен не отвечала. Она сидела на циновке, поджав ноги, и чертила что-то пальцем на земле.

— Переменим образ жизни, Кармен! — говорил

я умоляющим голосом. — Уедем в чужую сторону, где никогда не будем разлучаться. Ты знаешь, недалеко отсюда, под дубом, зарыты у нас сто двадцать унций золота… Кроме того, есть наши деньги у жида Бен-Жозефа…

Она улыбнулась и сказала:

— Сначала я, потом ты. Я знаю, что это так должно быть.

— Подумай! — продолжал я. — Терпение мое истощается; решайся, или я решусь.

Я покинул ее и пошел гулять в ту сторону, где была обитель. Монах молился на коленях. Я дождался, как кончилась его молитва; мне бы самому хотелось помолиться, но я не мог. Когда он встал, я подошел к нему:

— Святой отец, помолитесь за человека, который стоит на краю гибели.

— Я молюсь за всех страждущих, — отвечал старец.

— Не можете ли вы отслужить обедню за спасение души, которая, может быть, предстанет скоро пред своего Создателя?

— Да, — отвечал он, пристально смотря на меня. И так как в лице моем, вероятно, было какое-нибудь странное выражение, то он хотел, чтоб я поразговорился.

— Мне кажется, я вас где-то видал, — сказал он.

Я положил на скамью его пиастр.

— Когда же отслужите вы обедню? — спросил я.

— Через полчаса. Скажите мне, молодой человек, не лежит ли у вас что-нибудь на совести? Хотите ли вы выслушать советы христианина?

Мне хотелось плакать. Я сказал, что зайду через полчаса, и ушел. Я пролежал на траве, пока не зазвонил колокол. Тогда я пошел опять к обители, но не входил в церковь. По окончании обедни воротился я в гостиницу. Я надеялся, что Кармен убежала… но она была тут. Ей не хотелось показать, что я испугал ее. Сидя у стола, она выливала растопленное олово в деревянную чашу, наполненную водою, и рассматривала формы, какие принимало оно. До такой степени занимало ее это гаданье, что она не заметила моего прихода. То вынимала она из воды кусок олова и задумчиво поворачивала его на все стороны, то напевала магические песни, в которых цыганки призывают Марию-Падилью, любовницу дона-Педро, бывшую, говорят, *Bari Crallisa,* великою

королевой цыган[22].

— Кармен! — сказал я ей, — хочешь ли ехать со мной?

Она встала, оттолкнула деревянную чашку и, накинув на голову мантилью, собралась ехать. Подвели мою лошадь, она села позади меня, и мы поехали.

— Итак, моя Кармен, — сказал я ей, — ты хочешь ехать со мной, не так ли?

— Да, еду с тобой на смерть, но жить с тобой не стану.

Приехали в уединенное ущелье; я остановил лошадь. «Так здесь?» — сказала Кармен и спрыгнула наземь. Она сняла с себя мантилью, бросила ее к ногам своим и стояла неподвижно, пристально смотря на меня.

— Ты намерен убить меня, я это вижу, — сказала она, — убей, если хочешь, но я не уступлю тебе.

— Прошу тебя, будь рассудительна. Послушайся меня! Все прошлое забыто. Ведь ты погубила меня; для тебя сделался я разбойником, убийцей. Кармен! Кармен! дай же мне спасти тебя и самому

---

[22] Примечания: 22

Обвиняют Марию-Падилью в том, будто она околдовала короля дона-Педро. Народное предание говорит, что она подарила королеве Бланке Бурбонской золотой пояс, который очарованным глазам короля показался живой змеею. Отсюда происходило отвращение, которое он всегда показывал несчастной государыне.

спастись с тобою!

— Хозе, — отвечала она, — ты требуешь невозможного. Я уже не люблю тебя, а ты еще любишь и потому-то хочешь убить меня. Я могла бы сказать тебе какую-нибудь ложь, но не хочу напрасно ломать голову. Все кончено между нами. Как мой *рома,* ты имеешь право убить свою *роми;* но Кармен всегда останется свободною. Цыганкой родилась она, цыганкой и умрет.

— Так ты любишь пикадора? — просил я.

— Да, я любила его, как тебя, одну минуту, может быть, меньше, чем тебя. Теперь я никого не люблю и ненавижу себя за то, что любила тебя.

Я бросился к ногам ее, взял ее руки, орошал их слезами, я напоминал ей о прежних минутах счастия… предлагал ей остаться разбойником, чтоб угодить ей; все, сударь, все предлагал я ей, чтоб только она не переставала любить меня.

— Любить тебя не могу, — сказала она, — жить с тобой не хочу.

Ярость овладела мной. Я вынул нож. Я хотел, чтоб она испугалась и просила о пощаде; но эта женщина была — демон.

— В последний раз, — вскричал я, — хочешь ли остаться со мной?

— Нет! нет! нет! — сказала она, топая ногой,

и, сняв с пальца перстень, подаренный мною, бросила его в кусты.

Два раза ударил я ее ножом. То был нож Кривого, взятый мною, когда мой изломался в его горле. При втором ударе Кармен упала не вскрикнув. Еще и теперь я как будто вижу большой, черный глаз ее, пристально смотрящий на меня; мало-помалу он стал мутен и закрылся.

Целый час без чувств, без мысли, сидел я перед ее трупом. Потом вспомнил, что Кармен часто высказывала желание быть похороненной в лесу. Я вырыл ножом могилу и положил туда труп ее. Долго искал я свой перстень в кустах и наконец нашел. Я положил его в могилу, а с ним положил и крестик. Потом сел на коня, прискакал к Кордову и в первой караульне объявил свое имя. Я сказал, что убил Кармен, но не решился сказать, где похоронил ее тело. Монах был святой человек. Он молился за нее! он отслужил обедню за спасение души ее… Бедная Кармен! Не она виновата; виноваты цыганки, что воспитали ее таким образом!..

(1845)